

Николай Смирнов: раненое слово

Николая Смирнова читаешь медленно, подолгу зависая порой над страницей, чтобы соизмерить сказанное им с твоим личным опытом и пониманием. Этот автор ни на кого вообще не похож. В своих текстах он меньше всего бытописатель, аналитик в традиционном социально-реалистическом смысле. Скорее - рефлексирующий эмотивист и честный визионер, а иногда сновидец.

Потому и его жанр, формат непросто определить. Я б сказал, что это специфическая, «смирновская» стихопроза. Белый стих, свободная форма, обеспечивающая непринужденное мерцание и перетекание смыслов.

Сотканная таким образом словесная ткань удивительна и донельзя характерна острой, почти болезненной впечатлительностью – и, одновременно, осязаемостью касания к самым тонким материям и даже, как иногда чудится, иным мирам.

Не каждому дано почувствовать мирный «уездный город – <...> на самом краю мира, перед бездной будущего». И уж вовсе не каждый так сильно, как Смирнов, чувствует связь с историей как ареной испытаний и соблазнов, стыда и суда, как местом ужаса и поражения. Для писателя нет прошлого, все времена замкнулись для него в одном сегодня, взывая к пониманию, к состраданию, а выводы его печальны и мрачны.

Тексты Смирнова возникают на перекрестке, на пересечении символической и экспрессионистской традиций. Символ и заостренное до пароксизма переживание – вот его творческий узус.

Смирновский неэкспрессионизм наследует традициям лирической, исповедальной литературы. Он в версии Смирнова - отчасти свидетельство о душе автора, аккумуляция и максимализация внутреннего опыта. Это фиксация его вещами и явлениями внешнего мира, которые служат средствами проецирования душевной жизни. Правда, грань личного и иного, своего и чужого сегодня не всегда уловима и писатель являет нам сложность,

осколочность, раздерганность жизни вообще, души человеческой. С той или иной степенью рефлексивно-интеллектуальной переработки, иногда умело отделяя себя от героя, а чаще сближаясь с ним до неразличимости, Смирнов дает острые свидетельства о неисцелимо-пережитом.

Кажется, особенно характерный смирновский акцент - передача глубоко пережитого травматического опыта. Это встреча с болью, с горем, это уроки потерь, взыскание памяти, это готовность сострадать всякой жертве зла и тихий плач над немой могилой. Это попытка концептуализации жизни как раны, как утраты, как неудачи. Иной раз писатель пребывает в переживании и трудном обживании именно такого рода травматизма, передаваемого средствами абсурдного гротеска, гиперболизацией боли и страха, печали и отчаяния.

Помните, Анна Ахматова сказала как-то, что стихи – это рыдание над жизнью. Что-то такое можно уловить и в интонациях смирновской музыки.

Оказавшись в гламурном мире потребления и комфорта, мы часто теряем способность к драматическому изживанию беды. Обыденное сознание простеца не хочет ведать обнаженного страдания, игнорирует конечные величины: вечность, смерть. А Смирнов почти только ими и живет.

Ему трудно терпеть и сносить равнодушное, рутинно-повседневное бормотание жизни, застывшей как бы в столбняке. Он воспринимает ее такую каким-то мутным мороком: «И грезится часто одно и то же: бесконечность дурная уездной жизни, серый, морочный рассвет, из которого выступает длинный, дощатый забор огорода, вдоль него – водоотводная канава. В тумане все полустерто, и сам черт, что ли, где-то ворочается тут же, понизу, как частушечный «парнишка молоденький», который «напьется – валяется, сиротой притворяется». И если пойти по забору, то будешь щупаться, спотыкаться, бесконечно уходя куда-то в призрачный, слепой мир».

Смирнов остро и горько чувствует иссякающее, кончающееся, теряющееся неведомо где и как. Преходящее - прейдет. «Та, краснощекая,

торговала в магазине, этот ловил рыбу, тот – играл в духовом оркестре... Где они?» Писателю интересна грань, где происходит какая-то важная метаморфоза, какое-то событие, сближающее времена и рождающее новую реальность. Вот как тут, к примеру: «Главная бабка, не отрываясь от работы, глянула на меня – лицо ее было почти такого же теплого цвета, как лен, лишь в морщинах, потемнее, будто землей посыпано. Что же меня так удивило в этой старухе, запомнившейся навсегда? Почему образ этот с годами все чище и радостней, будто, действительно, возносится в поднебесное золотое царство?»

Или так, в гротескно-мрачном, фатальном колорите: «...увидал – фиолетовый, серый, синий лик. Носитель его шел рядом с вполне обычным человеком и запальчиво толковал что-то о своей работе. Сердце екнуло в груди, упало, как бывает перед входом в морг. Я оглянулся – люди вокруг спешили и делали вид, что не замечают этого синего, точно лицом в земле полежавшего человека».

Это видение на грани реальности и фантастики. И не то чтобы писатель напрямую творит фэнтези. Отнюдь. Такая простая игра с формой ему неинтересна. Но он вслушивается, медитирует. Он присматривается к подробностям бытия. Он открывает то светлые, то мрачные коридоры, которые куда-то же ведут.

В русской прозе нового века вообще-то не так мало откровенных контактов с иными мирами, потусторонних путешествий. Современные опыты подобного рода, эксперименты со смертью и посмертьем наследуют традиции романтико-символической литературы давнего прошлого, полной безумных откровений. Но такие мистические путешествия в современной прозе отдают, увы, картоном и клеем. В то же время важнейшее направление поиска современного литератора определено новым (по отношению к прозе начала XX века) качеством символизма: сюрреалистическим письмом.

У неосимволиста есть догадки о постоянном присутствии реальной тайны. Он знает, что в этом мире мерцательно отражается не условно-

примышленное, а вполне реальное, онтологически конкретное инобытие. Но неосимволизм нашего времени трезв и осторожен. Писатель скептически отрубает слишком прямые пути к Абсолюту, отбрасывает старые оболочки. Именно за счет этого он достигает новой ясности и новой простоты в отношениях с потусторонним. Как вот здесь, где максимально предметное содержание незаметно сливается у Смирнова с чем-то запредельным: «Синица прилетает, долбит под окном, расклеывает что-то на железном карнизе, отрывает от писания. Посмотришь на нее – и она посмотрит на тебя: спокойно, как маленькая курочка. Пух встопорщенный от мороза, плотный: головка в нем, как из черного камня, а грудь – в желтом. Махнешь рукой – спустится на клен, тут же опять долбится под окном. Каждое утро одно и то же, будто она с этим стуком по железу расклеывает день за днем»...

Нередко люди у Смирнова странные, нелепые, часто почти безумные. Они несут какое-то особое бремя, служат знаками, исполняют предназначенное. В них есть непостижимость, да они и сами себя не всегда понимают, как вот тот дурачок Валька: «...Недавно он сам с глупым смехом рассказывал Скорнякову, как шел весной по селу и увидел Христа... Голого. И что? – напряженно спрашивал его Скорняков. И Христос мне велел: «Иди, зажги клуб!» И я зажег! – кланяясь от смеха, белозубо покатывался дурачок». Нелепо? Но не более, чем многое остальное, в превратной, непоправимой, последней жизни.

Нить смысла уходит в вечность. Но сама вечность далека, непостижима. И связь ее с землей, с Россией, с человеком – то ли она есть, то ли уже утрачена. Быть может, лиственный шелест, тихий звон у изголовья, слепящий солнечный блик о чем-то еще напоминают? И писатель не устает искать, снова и снова пытаюсь нащупать, перехватить эту нить в том бедственном месте, где случился разрыв и зияет рана, - чтобы соединить разъединившиеся концы своим словом, своим сочувствием и соучастием.

Е. Ермолин